

Первая декада третьего военного января

Вещей у нас почти не осталось. Если не считать подарочных веников. Фактически один легонький чемодан. Приезжаем на станцию загодя. Идем на привокзальный крошечный рынок. Меня поражает «изобилие», маму — дешевизна сала. Сало, как и веники, — гостинец. Посадка в поезд на Москву похожа на взятие неприятельской крепости. И все-таки нас как-то, непонятно как, туда втискивают. Набито так, что кажется, придется ехать стоя. Не пришлось. Распределились, ужались, утрамбовались. И вот мы, хотя и сжавшись, все-таки сидим на крайчике нижней полки, а Женька даже дрыхнет за не нашими спинами. Но вот и Москва. Сердитая серо-черная толпа. Вали-

но круглое улыбающееся лицо. Лелино — узкое, озабоченное. Сероватое. До Лопасни девочки нас не провожают, у них занятия, да и там никто не встречает. Метель. Ветер. Зато в доме натоплено. И самовар. И тетя Катя не злая. Удивляется: какое прекрасное в Поволжье сало. Залезаю на печку. Дядя Сережа приделал к перегородочной стенке поручень. А где же кошка? Печка же кошкино место? Где? Умерла? Убежала? Собаки загрызли. Екатерина Степановна протягивает мне наверх осколок твердого сахара и еще одну подушку. Эта и впрямь — под ушко. Маленькая. И наволочка не белая, а пестрая.

1944

Январь-май

**Сочини на школьной карте
город с именем Вишневым**

Живые перед мертвыми навсегда виноватые, и это, что делать, «в природе вещей». Виноватости, впрочем, бывают разные. И неизбежные, и мы, мол, как все, — без вины виноватые, и очень даже избежные. Я же, допустим, не по лености и не по равнодушию, а вот почему-то не удосужилась расспросить ни маму, ни дядю Сережу, на каком таком основании в январе 1944-го московская семья оказалась приписанной к Лопасне. Пусть и временно, а приписанной. А что приписка была оформлена, сужу по тому, что местные власти ранней весной 1944-го выделили нам под



Пункт распределения раненых на Ярославском вокзале столицы



картошку целую сотку. Неподалеку, на пустыре, за дорогой. Вырасти ничего путного, конечно, не выросло, хотя мама целину вскопала, а летом, уже из Москвы, приезжала в Лопасню, чтобы ее окучивать. Ботва жалкая, цвету не было, но и по-лопа, и окучивала. Иначе Сергей расстроится: не приложили, дескать, усилий...

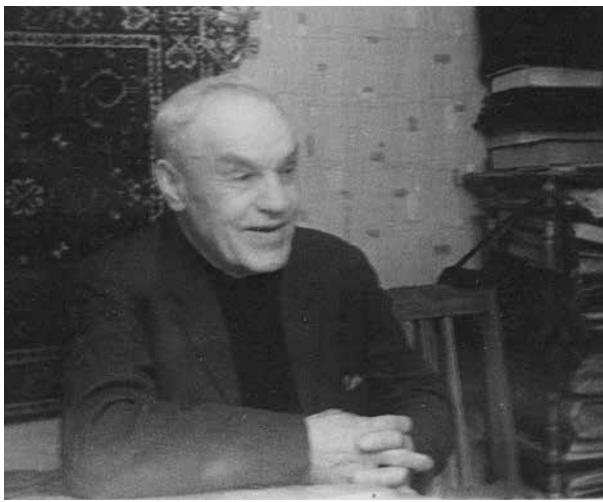
Москва, Щукинская, самое начало 50-х

Поздний обед. Женька полует, полуболтает. Еда остывает, тарелка грязная. Гешка, младший, от горшка два вершка, хотя никто его этому не учил, действует по принципу «когда я ем, я глух и нем». Себя я, конечно, не вижу, но знаю: по тому, в каком темпе опустошается моя тарелка, мама определяет, удались ли котлеты или кислые щи. За стол она не садится, приносит, уносит, и вдруг, улыбаясь: «Если б еще троих родила, те что, такими же разными получились?» Шестеро? Она что, и про своих сестер-братьев так думает? Для меня, тогдашней, все Шаповаловы словно горошины из одного стручка. Зато сейчас удивляюсь: и как так могло получиться, что из шестерых детей деда моего Филиппа врожденная ответственность крестьянина за землю-кормилицу всерьез досталась только одному, старшему, хотя Сергей Филиппович — единственный, кто получил не просто высшее, а отменно высшее (по тем временам) образование. Перечисляю: а) Горецкая сельскохозяйственная академия, та самая, которую еще при Николае Первом, по настоянию адмирала Семена Мордвинова, основали в бывшем имении проворовавшихся графов Соллогубов; б) Москов-

ский народный университет А. Шанявского. Годичный курс лекций¹.

Нет-нет, примитивным «огородником на пенсии» Сергей Филиппович никогда не был. Вот что пишет о нем, вспоминая военные годы в Лопасне, мой ровесник — один из тех казаков-разбойников, что рубились в лапту на нашей Вишневой: «На... Вишневой улице жил учитель биологии Сергей Филиппович Шаповалов. В голодном 1942 году, в самую трудную пору, Сергей Филиппович основал первую в наших местах станцию юннатов и заложил первый в городе школьный сад. Сергей Филиппович раздал нам, станционному лихому пацанью, саженцы, чтобы мы посадили их у своих домов. Мне досталось пять саженцев груши-бессемянки. Из пяти четыре принялись. И я получил за это первые в своей жизни заработанные деньги — сто рублей премии. Как они были кстати, эти малые тогда деньги! Думаю, что Сергей Филиппович заботился более, чтобы выжили мы, ребята, чем те саженцы, за сохранность которых выдавал он премии. Груши эти, только теперь их три, до сих пор

¹ В здании, построенном на деньги А. Шанявского, ныне квартирует РГГУ. Что касается упомянутых лиц, то Семен Мордвинов, помимо всего прочего, родной дед и воспитатель друга Лермонтова Алексея Аркадьевича Столыпина, родного племянника бабушки поэта Елизаветы Арсеньевой. У Шанявского в течение года на историко-филологическом отделении учился и Сергей Есенин. Белорусское имение Соллогубов было конфисковано в счет выданного императором Александром аванса. В 1812 году Соллогубы получили из казны большие деньги под обеспечение продовольствием русской армии и, как водится, ничего не сделали. В результате все мои предки по женской линии уже в 1828 году, перестав числиться графским имуществом, были приписаны к казенному ведомству.



Сергей Филиппович Шаповалов

растут и плодоносят в отцовском саду. Им уже по 37 лет...» (Юрий Сбитнев. О земле, по которой иду. Литературная газета, 14 мая 1980 года). Не уверена, что Сбитнев прав. Судьба саженцев груши-бессемянки (остатки селекционных опытов, затеянных вместе с Татьяной Всеволодовной Мейерхольд еще в техникуме в Новом Быту) заботила дядю Сережу ничуть не меньше, чем судьбы новоиспеченных юннатов. Он же был убежденным вавилонцем, заочным учеником и приверженцем школы Вавилова, уж это-то я знаю точно. Причем учеником верным. Однажды, удивив маму, рассердился, прямо-таки вышел из себя, когда я по глупству стала пересказывать мерзости в адрес дейсманистов-морганистов из школьного учебника биологии. Оказывается, еще в 1935-м Вавилов распорядился, чтобы практики проверили результативность теории яровизации Лысенко, и С. Ф. вместе с учениками в этом проекте участвовал. Так разозлился, что на подробности не поспешил. С годами они, поредев, превратились вот в какую картинку. Все учебное помещение заполнено снопиками зерновых. Маленькими, с бирка-

ми. Все заняты, все при деле. И вдруг тут врываются комсомольцы Минского сельхозинститута, который слили с Горецкой академией, и срывают со стен портреты Вавилова, его последователей и предшественников, и развешивают лысенковские... Дела давно минувших дней? Как бы не так. Вот что пишет мне из Чехова внучка С. Ф., Галина Ивановна Нарышкина. Цитирую: «Сегодня проходила по улице, где в детстве была юннатская станция и дом пионеров. Старый особняк сгорел, но церковь его восстановила. Сейчас там воскресная школа. Около этого дома дедушкой и детьми был посажен сад (предполагаю, что до 1950 года), а сейчас сада нет, стоит высокий забор вплоты к церковной территории. Я очень удивилась. Ведь осенью сад, хоть и заброшенный, но был. Мимо идут люди разного возраста. Выбрала прохожего моего возраста и спросила, сказав, что мой дедушка сажал этот сад с юннатами, тот, что за забором. Он остановился и рассказал, что многие дети ходили работать в сад, и С. Ф. Шаповалов учил их даже делать грядки. Было очень приятно, что есть выросшие дети и не забывшие своего наставника».

И все-таки, думаю, вишни, давшие имя Шаповаловской улице, не от этих, подмосковных, а от других саженцев, от селекционных, от тех, которые в зиму 1941-го везли мы из Горок. Мы — это С. Ф., мама и я. У меня же первые школьные книжки! Шаповаловы наконец-то купили и обживают собственный лопасненский дом. На этот раз в Горки меня не берут, оставляют у Фабристовых в Орше. Мы с Валею провожаем их до извозчицкой площади. Воробьев здесь тьма-тьмуца. Расклеивают, толкаясь, вкусно-пахучие лошадиные «подарочки». Выклеивают непереваренный овес. Ян Митрахович, муж маминой детской подружки Мани Стугаревой, садовод и работает в Академии. К нему они и едут. За саженцами.

**1952
Лето**



Дом Шаповаловых. Лопасня, Вишневая улица

Лопасня еще Лопасня, а не Чехов, но 1-я Станционная, похоже, уже Вишневая. Мы с мамой и Женькой пешком добираемся до Мелихова. В надежде, а вдруг заглянем к Чеховым в дом? Но там безлюдно. Мамин отгул, двухдневный отпуск от домашних забот, кончился, меня же оставляют еще на несколько дней. Пока не зайвится из Новосибирска младшая из дочерей Сергея Филипповича Вера. Верина вишня, а это «краса Севера», поздняя, под майские заморозки не попадающая. Ягоды у «красы» крупные, ярко-красные и с ма-



Старая Лопасня. Рисунок С. М. Чехова.
Середина 1950-х годов



Лопасня, конец XIX века. Такой видел привокзальную площадь А. П. Чехов, когда впервые приехал в Мелихово

ленькой косточкой. Если лечь на раскладушке на спину, закрыть глаза и осторожно опустить на лицо гибко-тяжелую красно-зеленую ветку, кажется, что у дерева хорошее победительное настроение. Соперницы (и «владимирка», и «шубинка»¹), отплодоносив, отоцали и подурнели, а она красуется. На выцветшей картинке четко видны и фасад дома, и терраса, и ярко-красный сарафан северной красавицы. А в стихах все почему-то сдвинуто то ли в какую-то не древесную тень, то ли в послепожарную, сильно пахнущую горьким дымом отечества туманность.

Сочини на школьной карте
Город с именем Вишневым,
Русский, русский, старый-старый,
Обязательно не новый,
Чтоб за площадью Центральной
Начинались огороды,
И на сутки, персонально
Подари мне этот город.
Непутевый, бестолковый,
В каждой горнице герани...
Я въезжаю в свой Вишневыи,
Словно в песне, зябкой ранью.

Я спрошу воды напиться,
Мне протянут горстку вишен.
Здесь, наверно, крепко спится.
Тишина и та здесь тише.
Огурцы вишняни солят —
Дух чесночный, дух укропный!
Ни охоты, ни неволи.
Вечер долгий, день короткий.
Я верну его обратно
Через сутки, точку в точку —
Не отмеченный на карте
Ни названьем, ни кружочком.

Вишневое отступление кажется затянутым? Но мне почему-то не кажется.

1969 Жевнево

Корзинка с лопасненскими вишнями — на самой середине вынесенного в палисадник переносного раскладного стола. Стулья тоже раскладные, из того же офицерского, Женькиного, походного набора. Мама и дядя Сережа сидят. Я стою. С. Ф. «отдыхается». Лицо у мамы расстроенное. Лето в этом году жаркое, Сергею почти восемьдесят, а от станции Снегири до деревни Жевнево, где мы дачничаем, три с половиной километра. Пешком. Мама чуть не плачет, она же, не подумав, отписала в Лопасню, что здесь, в ближнем Подмоскowie, вишни померзли. Вот он и привез нам будущее варенье...

¹ В одну из отнюдь не морозных зим в Жевневе почему-то засохла «шубинка». Оставшись в одиночестве, без опылительницы и товарки, «владимирка» скуксилась и пошла на убыль. И Майя Плисецкая перестала шастать на босу ногу в шлепанцах к нашей соседке тете Наташе за вишней. Лучшей вишни, чем Наташина, в Жевневе нет. Дачка Плисецкой и Щедрина — финский домик в углу, на бывшей обочине дачного кооператива артистов МХАТа и Большого театра, — неподалеку, в шаговой доступности от деревни. Участок у Майки узкий, сырой и темный. Не такой роскошный, как у Козловского или Кильчевского, у которого снимает летнюю половину мой хороший знакомый по «Вопросам литературы» Дима Николаев с семьей. Щедрин, в синем с белым советского производства трикотаже, реабилитируется после инфаркта, делает зарядку за воротами. Проезжая на велике на речку Истру, я на всякий случай ему улыбаюсь. Про инфаркт супруга Майки известно всему Жевневу. От дяди Васи, мастера на все руки. Он у Щедриных вечно что-то чинит-прибивает. А с опохмелки — хвастает.

Впрочем, вишневое отступление и впрямь длиннее, чем следует. Но мне так не хочется возвращаться в 1944-й. Издалека, спустя столько десятилетий, представляется, будто после Сталинграда фронт покатился к Рейхстагу. На самом-то деле в зиму 44-го года в восприятии жителей тыла война опасно и необъяснимо застопорилась, а наступление захлебнулось. Поскольку застопорилась на западном направлении, то и разговоры о том, что Белоруссия все еще «за немцем», продолжают оставаться нашими домашними, засадовыми печально-тревожными разговорами.

У Семена Ефимыча Фабристов в Орше осталась Маня, дочка от первого брака, а в Минске — родная сестра и семья ее дочери.

У нас — средняя из маминых сестер Ирина с мужем и младшими сыновьями. А еще и вся отцовская деревенская родня — и мать, и сестры, и четверо племянников. В Новоселках. У мамы вдовавок еще и подруги: Маня Стугарева и Нина Ивановская. В Горках.

У Екатерины Степановны своя забота — младшая любимая сестра. Неподалеку от Горок, в деревне. Свою родню тетка обожает, мужнину недолюбливает.

— Ма! Почему?

Мама отвечает не сразу, не при всех:

— Твою бабушку Ксению похоронили перед самой их свадьбой. Дед Филипп умер годом раньше. Сергей старший, мы с Марусей младшие, мне и девяти нет, ей пяти. А что такое старший сын многодетной крестьянской, оставшейся без хозяина, а теперь и вовсе осиротевшей семье? Догадываешься? То-то. Вот и пришлось Кате, дочери «успешного» сапожника Степана Бочкова, франтихе и молодоженке, и в нашу избу переселяться, и со мной цацкаться, и с коровой возиться. Хорошо хоть Марусю старшая тетка, бездетная, сразу к себе увела. С ней до замужества Маруся и



Вишневая улица в дождь

проживала. Ну а меня как переходящее знамя передавали из одних родственных рук в следующие родственные руки. От Сергея к Лизе, от Лизы к Ирине... А то и к Ефиму. Но это уже как в полный возраст вошла...

Подробности горестных тех вечеров улетучились, я же прислушиваюсь к ним сверху — отпавленная, чтоб не мешалась, на печную лежанку. А вот эмоциональный окрас состояния, связанного с возвращением из-под Саратова, помню, причем четко. Как долгую-предолгую болезнь. В зиму 1944 года каждодневная жизнь, и не моя-наша, а «всехняя», посерела, почернела, ссутулилась. Хлебные очереди и те притихли. Не думаю, чтоб все, без исключения, люди за два с половиной военных года вконец обносились. Однако и они стараются одеваться в старье, чтобы не выделяться из толпы. За выделявшимися в три глаза следит расплывшееся жулье и ловко-быстренько раздевает. Сергей Филиппович, уезжая в Москву по делам, никогда не надевает новую красивую шапку. Только старую потертую. То ли кошачью, то ли из кролика. Маму из довоенного модельного пальто хотя и не вытряхнули, да бритвой с досады спину исполосовали — уж очень маленькое и короткое. Не продашь, не обменяешь. Порезы, естественно, мастерски заштопаны, и носится изуродованная одевка долго-бессменно, пока не появляется обновка — купленный по промтоварным талонам серый драповый демисезон. К демисезону пришивается споротая с порезанного зимнего пальто подкладка с ватном. А вот двойную каракулевою стойку приспособить не удастся. Драп толстенный. Я из каракуля втихаря пытаюсь сделать игрушечную овечку. Не получается. Но все это потом, потом! А пока мы



Белоруссия под немцем



1. Наряды из акрилатов на материи стропы. На теге на материи стропы. 2. Наряды из акрилатов на теге и стропы. 3. Наряды из акрилатов на теге и стропы. 4. Наряды из акрилатов на теге и стропы. 5. Наряды из акрилатов на теге и стропы. 6. Наряды из акрилатов на теге и стропы. 7. Наряды из акрилатов на теге и стропы. 8. Наряды из акрилатов на теге и стропы. 9. Наряды из акрилатов на теге и стропы. 10. Наряды из акрилатов на теге и стропы.



1. Платье в стиле из легкой шерсти или тонкого шенилла, гладкого или набивного. 2. Платье из шенилла, гладкого или набивного. 3. Платье из шенилла, гладкого или набивного. 4. Платье из шенилла, гладкого или набивного. 5. Платье из шенилла, гладкого или набивного. 6. Платье из шенилла, гладкого или набивного. 7. Платье из шенилла, гладкого или набивного. 8. Платье из шенилла, гладкого или набивного. 9. Платье из шенилла, гладкого или набивного. 10. Платье из шенилла, гладкого или набивного.

Когда кузины привезли купленный в киоске модный журнал, мы все очень смеялись, особенно над шляпами

все, втроем, бытуем в Лопасне. Я хожу в школу, а мама чуть ли не каждый день уезжает в Москву. Хлопотать (обивать пороги) у интендантов. Однажды даже привозит мне в подарок открытку: на серо-желтой шершавой бумаге — живая, от руки, акварель. Красно-коричневые анютины глазки. И надпись на обороте. Число и такие слова: «Напрасные хлопоты». Куда делась? В каком ворохе прячется? Я же берегу ее как зеницу ока? Все, что именно так, сверхтщательно, берегу, исчезает. Проклятье... Однажды приезжает из Москвы веселая. Из Мурманска в интендант-отдел поступила строгая бумага с требованием освободить для нас хотя бы маленькую комнату. Ту, что с лоджией. Это во-первых. Во-вторых, в почтовом ящике на Щукинской маму поджидало письмо от Фабристовых. Они уже под Москвой. В Голицыно. Устроились по-буржуйски. Половина зимней дачи, хозяйева которой еще не вернулись из эвакуации, и посему помещение временно предоставлено работникам переведенного под Москву паровозоремонтного завода. Зовут к себе. Екатерина Степанова перестает громыхать дровишками и ухватками. Я начинаю прощаться поцелуями в лобик с новорожденным телянком. Бычок мекает... Но Сергей Филиппович вмешивается: нечего, мол, девочку (то есть меня) из школы в школу как тюк с барахлом перебрасывать. Парня (то есть Женьку) увози, а Алла пусть остается. С ней ни возни,

ни хлопот. Екатерина Степановна молчит. Мама тоже. Но тут неожиданно, вечерним рабочим поездом приезжает Леля. За картошкой, луком и солониной. Конфликт, не начавшись, рассыпается. Мама начинает собирать и засовывать в сумку Женькины вещи, а я потихоньку проглатываю *невидимые миру слезы*... Утром уезжают втроем. Мама Леля и Женька. В школу я хожу вместе с дочерью квартирантки соседней, моей ровесницей. Она болтушка и всезнайка. По дороге, приглушая голос и оглядываясь, информирует о «тайнах пола». Вот только *про это* рассказывает неинтересно. Куда интереснее о тайне своего происхождения, то есть о том, что она внебрачная дочь самого Рокоссовского. И карточки показывает. И карточки, и вырезку из газеты. *Мы же с ним на одно*



Моя лопасненская школа, как она выглядит сейчас



Рисунок Марины Медведевой

стить картофель, отправляют на кухню, тех, кто умеет читать и грамотно-разборчиво писать, распределяют по палатам. К тяжелым, естественно, не ведут. Только к выздоравливающим. На второй этаж. Распределяют, как я теперь понимаю, по-умному. В одну и ту же палату и в постоянном составе. Группой. В моей группе четверо помощников. Две, кроме меня, девочки и один мальчишка. Все из четвертого класса. И у каждого свои раненые. У меня раненых трое. Одному, самому старшему и веселому, только читаю. Веселый же он потому, что «легко отделался». *Половины ступни нет? Ну и что?* Письма веселому не нужны. Он здешний, подмосковный, его иногда, по воскресеньям, родственники навещают. А скоро и жена с сыном из эвакуации вернутся. Читать, однако, пока не может. У него астигматизм, а очков нет. Два другие — совсем молодые и грустные. У второго миной правую кисть оторвало, одной левой — каляки-маляки получаются, даже мать почерка не разбирает. Ну а третий писать боится, у него любимая девушка есть, а он малограмотный. Да и с головой от контузии что-то не так. *Лечат-лечат, да все не так. И сам вроде целый, а башка поглупела. «Отойдешь», обещают. Пока отходить буду, Надька замуж за умного калеку выскочит...* К этому бедолаге я к первому подхожу. Радуется, как большой ребенок, и ежели сестричка приходит, отворачиваюсь, ему же в задницу укол делают. Дядя Сережа, когда про малограмотного рассказала, достал из записки несколько настоящих довоенных конвертов с марками. Отнеси, мол, в госпиталь контуженному. Чтобы письма его, любовные, к неизвестной Надежде в лучшем виде являлись.

Предположение, что опыт госпиталя приоткрыл мне трагическое лицо войны, будет натяжкой. Скорее, наоборот. И тем не менее плавающая тревога не отстает. Тем более что в доме назревает ситуация семейного раздора. Войдя ненароком в роль «тайного сыщика»¹, фиксируя не слова, а интонации, начинаю подозревать, что напряжение как-то связано с новой работой Сергея Филипповича и его участвовавшими отлупками в Москву. Даже девочки приезжают из институтов домой не вместе, как раньше, а поврозь. Вера вроде как к матери. Леля — к отцу. Подозрение преобразуется почти в уверенность, когда, вернувшись из школы, застаю незнакомую гостью. Скорее пожилая, чем молодая, но явно моложе Екатерины Степановны, спокойная, уверенная. Сидит не раздеваясь, на отодвинутом от обеденного стола стуле. Не сняв перчаток. Имен-

¹ Не уверена, что у читателей на памяти блоковские стихи про тайных сыщиков, особенно строфы, работающие на мой, так сказать, случай. Случай же в том, что, попадая в любое «собрание людей», и я невольно превращаюсь в «тайного сыщика». Вот эти строфы:

Есть игра: осторожно войти,
Чтоб вниманье людей усыпить;
И глазами добычу найти;
И за ней незаметно следить.

Как бы ни был нечуток и груб
Человек, за которым следят, —
Он почувствует пристальный взгляд
Хоть в углах еле дрогнувших губ...

Не корысть, не влюбленность, не месть;
Так — игра, как игра у детей:
И в собрании каждом людей
Эти тайные сыщики есть...



Игрушки детей блокады

но перчаток, не варежек, как у всех. Дядя Сережа рубит в сарае дрова. Дождавшись, пока он внесет охапку полешек и переоденется, достает из маленькой сумочки какие-то бумаги. Дядька молча их перебирает, возвращает, и они уходят. Не в сторону вокзала, к поезду, а в город, в Лопасню. Возвращается он поздно и один, без дамы в перчатках. Говорю — дама. Потому что гостя по виду из бывших, но не из тех, что приезжали когда-то в Перхушково к дачной нашей хозяйке, другие. Вроде и советские, а все равно какие-то не совсем советские... Зимой 1972-го, когда мы с Генкой вернулись из Лопасни с похорон Сергея Филипповича и поминок, маме по нездоровью ехать врачи запретили, она мне сказала: «С Сергеем случился инфаркт прямо у дверей той женщины. Она и скорую вызвала. От нее и в морг увезли. И никто, кроме нас с отцом, об этом не знает. Да и мы только потому, что от нее позвонили. Пусть все так и думают: на улице подобрали. И запомни. Никому и никогда. В Лопасне особенно. Ни девочкам, ни Екатерине Степановне... Ни про инфаркт, ни про остальное...»

— Про что?

— Да я и сама толком не знаю. Вроде как давние знакомые. Еще с Белоруссии. Случайно в войну встретились. Муж, видимо, из наших якобы националистов, в ссылке был. Там и умер. Муж умер, она вернулась. Перед самой войной.

Ой, ой, ой... Опять ненароком свернула с дороги, верной, пусть и проселочной, на неведомую тропу. Посему и возвращаюсь в 1944-й. Точнее, в его единственный светлый день. В тот яркий зимний день, когда из Голицына, от Фабристовых в Лопасню, принесли телеграмму с сообщением, что все наши ленинградцы живы. И Федор

Смирнов, и Маруся, и Виктор. Вообще-то Витька не родной сын Смирнова, но дядя Федя его усыновил. Про то, что блокада не просто местами прорвана, а снята окончательно, Сергей Филиппович, конечно же, знал. Об этом объявляли даже в нашей школе. Но судьбы блокадников оставались гадательными, как и судьбы оставшихся «под немцем». В школе уныло, дома неразговорчиво, в госпиталь нас почему-то перестали посылать, а книги, которые предлагают в библиотеке, не те: не для меня, не про мое. И не про то, что вокруг. А ведь молоденькая библиотечарша сильно старалась, выбирая



Старая Лопасня.
Здание библиотеки

подходящее, по возрасту читательницы. Да и названия завлекательные: «Марка страны Гваделупы», «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», «Голубое и розовое»... Полезные книги, но не мои... Из-за того, что Леля стала приезжать редко (как-никак, а последний курс), меня частенько перемещают на ее спальное место за шифоньером и этажеркой, а там, засветив лампу, не возбранялось читать допоздна. Я, однако ж, не столько читала, сколько любовалась разноцветной гарусной скатертью монастырской работы, а главное, жеманною, под Ватто, фарфоровой парочкой — пастухом и пастушкой. И то и другое Лелины дочери, Наташа и Галка, подарят в чеховский, Мелиховский музей. И хорошо, что подарят, дом на Вишневой сгорит, а мои картинки от пожара не пострадают. И даже почему-то не выцветут. Может быть, по контрасту, может быть, потому, что все остальные, датированные зимой 1944–1945 годов, не цветные. Даже книги не те, не интересные. Интересных всего три. Самую толстую, про лесного человека Дерсу Узала и путешествия автора по Дальнему Востоку, Леля, забирая институтские учебники, выдала мне на «прочит». Вторая сама выпала из этажерки. Ее, бурно обрадовавшись (так вот она где!), кузина у меня отобрала, прямо из рук выдернула. Я, однако, успела и разломить ее, и запомнить первое на разломе четверостишие. По нему, как зверя по следу охотник, лет через несколько опознаю и автора, и имя сборника:

Над черным носом нашей субмарины
Взошла Венера, странная звезда.
От женских ласк отвыкшие мужчины,
Как женщину, мы ждем ее сюда.

Бедный-бедный Захар Прилепин! На миру, природно печалится, незаслуженной славе слетков-подлетьшей хрущевской весны завидует. Утешителей тьма, а зуд зависти не утихает! И ведь понапрасну себя изводит. Слава любезного ему образца (что вверху, что внизу) даже над звездной парой: Аксенов плюс Евтушенко — никогда не витала. Иную голову осеняла. Красиво фотогеничный профиль Симонова Константина Михайловича. Да и то недолго, в пору невиданного успеха одной-единственной его книги — вышедшего в 1942 году посвященного Валентине Серовой поэтического сборника «С тобой и без тебя». Нужно было жить в то узкое стиснутое время, чтобы никогда не забыть, как резонировали такие, к примеру, строки:

Мне хочется назвать тебя женой,
Не для того, чтоб так назвать пред светом,
Не потому, что ты жила со мной
По всем московским сплетням и приметам.

При переиздании стих облагоразумеют, испортят, обкорнают, но в том виде, в каком переписанный каллиграфически этот текст ходил по нашей женской 153-й, было именно так. Впрочем, о Симонове и его метаморфозах речь впереди, а здесь просто уточняю. Несмотря на уверения биографов, что сборник было невозможно ни купить, ни достать, тот, выпавший с книжной этажерки, аккуратно завернутый в газету, наверняка куплен запросто, в год его выхода, кем-то из Лелиных соркурсниц, студенток Ленинского педагогического.

Третьей долго действующей (до сих пор не заделанной дыркой в заборе) в предпоследнюю лопасненскую военную зиму была, как ни странно, книжница не «довыросту», а наоборот. Библиотекарша даже удивилась, когда я ее выглядела. Большеформатная, желто-яркая, с потрепанными уголками картонной обложки и непонятным названием «Солнечная». Потом я долго ее искала, сначала для дочери, потом для внука, но Корней Чуковский почему-то эту вещицу не переиздавал. Может, в двенадцатитомнике повестушка о санатории в Крыму для больных туберкулезом детей и есть, но у меня-то этот том отсутствует. В Интернете текст, разумеется, существует, и я его, конечно же, проглядела, но так и не отыскала подробностей, сделавших «Солнечную» созвучной тогдашнему моему состоянию. Чувству Большой



Екатерина Степановна Шаповалова. На фотографии сохранилась и домашняя обстановка, и пастух с пастушкой

Беды и Невосполнимой Утраты. Теперь-то я знаю (из знаменитого «Дневника» К. Ч.), что писано с натуры, — в подобном лечебном заведении напрасно лечилась и умерла младшая из детей автора. Та самая удивительная девочка Мурочка, для которой, из-за которой «белый (зубастый) волк» русской критики самоспасительно перевоплотился в доброго дядюшку (дедушку тож) Корнея. Видимо, старость все-таки повышает «болевой порог»...

Все-все в том году какое-то бесконечное... Зима и та не кончается... В каникулы меня опять переправляют в Голицыно, но даже «Солнечную» книжку взять с собой не позволено: библиотечная! Вернувшись, я ее и дочитала, и перечитала, но другими глазами. От неутешного и неисправимого горя другими... Отвернувшись к стене и заслонившись тети-Катиной думкой от пастуха с пастушкой.

Что же случилось на Вишневой улице за время недолгого моего отсутствия?

А вот что случилось. Поскольку Белоруссию все не освобождают и не освобождают, то Женю Шумейко, всего израненного сына младшей сестры тети Кати, выписывают наконец из госпиталя, и она забирает племянника к себе. Весь изранен-

ный — не фигура речи. Красивого высокого статного парня (любимый Екатериной Степановной типаж — *смерть девкам*) война всего лишь одним взрывом превращает в полуслеплого инвалида. Вместо правой руки — пустой рукав, вместо ноги — культя. Когда он спускается с русской печки, — теперь-то ее подтапливают ежедневно, медленно-медленно, — хватаясь целой рукой за прибитый к стене поручень, а тетка держит наготове костыли, у меня перестают действовать не только ноги...

К счастью, Екатерина Степановна наконец-то перестает относиться ко мне как к временному, но неизбежному неудобству. Теленка, оказавшегося не бычком, как я думала, а телочкой, привязывают на колышек на полянке за прудиком, и за ним надлежит смотреть в оба. Приплод от молодой и дойной коровы выращивается на продажу. Куплен по случаю и тощенький жалкенький поросенок. С натугой пробивается и нужная ему крапива. Все та же, что и довоенная, на пустыре. Не только полянка, Вишневая тоже потихоньку зарастает коротенькой гусиной гречей. В школу я бегаю теперь одна, без внебрачной дочери Рокоссовского, ее хорошенькая и очень уж молодая матушка сняла комнатку в центре Лопасни — поближе к дочкиной школе и своей новой хорошей работе. Разговорчики о знаменитом родите-

ле иногда все-таки возникают, но вперемешку с мечтаниями о новых сандалетах, которые ей якобы пообещали купить, если закончит третий класс хотя бы без троек. Вот и старается, и успешнее меня старается. У меня-то, увы, клякса на кляксе, все никак рукой не запомню, что перышком следует о край чернильницы постучать, прежде чем ручкой в тетрадь тыкать... Не знаю, кто со школьным начальством договаривается, сам ли дядя Сережа или Леля, но справку об окончании такого-то класса такой-то школы с такими и такими оценками я увожу в Москву недели за две до последнего выпускного звонка. Сразу же после коллективной облавы на майских жуков. Забирает меня Леля, московские подселенцы освободили все-таки комнату, но в ней бедлам, потому и Женька пока у Фабристовых в Голицыно, но там от него подустали... У билетной кассы на станции сталкиваемся с бывшими соседскими квартирантами. Им, и матери и дочке, только до Подольска. Когда выходят, спрашиваю кузину про Рокоссовского. Леля хохочет:

— Да у него, по московским слухам, роман с Валентиной Серовой...

Сообразив, по моему лицу, что слышу это имя впервые, сестрица вынимает из кошелки учебную книгу и черствоватый бублик. Половину мне, половину себе.

Продолжение следует.

